ВЕРА ФЕДОРОВНА

ПАНОВА

Спутники

РУССКАЯ КЛАССИКА

Вера Федоровна Панова
Спутники
Серия «Русская классика (АСТ)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=163493
Спутники: АСТ;
ISBN 978-5-17-160550-6

Аннотация

Перед читателем предстают будни санитарного поезда, который с 1941-го по 1945-й вывозил раненых с фронта в тыловые госпитали. Будни абсолютно непохожих людей: молчаливого интеллигента Белова, эгоистичного Супругова, отважной Лены Огородниковой, профессионально холодной Юлии Дмитриевны, доброй Фаины и многих других. Каждый со своей судьбой, своими горестями, слабостями и жизненными принципами. Поезд и долг перед Родиной сделали их спутниками на дорогах войны.

Чтобы написать эту книгу, Вера Панова два месяца провела в санитарном поезде, своими глазами увидела важный труд тех, кто хоть и не находился на передовой, но, спасая жизни раненых, внес свой вклад в Победу.

«Спутники» дважды экранизировались, это любимые всеми фильмы «Поезд милосердия» Искандера Хамраева и «На всю оставшуюся жизнь» Петра Фоменко.

Содержание

Часть первая 5
Глава первая 5
Глава вторая 32
Глава третья 58
Конец ознакомительного фрагмента. 82

Вера Федоровна Панова

Спутники

© В. Панова, наследники, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024

Часть первая
Ночь

Глава первая
Данилов

Не спалось. Данилов встал. Отдернул плотную занавеску и опустил окно. Тяжелая рама бесшумно скользнула вниз. Все в этом поезде было добротное, хорошо пригнанное, долговечное. Приятно взяться за любую вещь.

Ветер влетел в окно. Небо и поля были пепельно-светлые, без красок. Белая ночь. Очень тихо.

Лето в этом году пришло поздно и не было похоже ни на одно другое лето. Днем солнце палило, как на юге, а ночи были холодные. Данилов озяб, стоя у окна. Может быть, он стоял очень долго? Он не знал, долго или нет.

Он надел галифе и сапоги. Эта толстуха в белом сборчатом берете опять поставила ему на ночь ковровые туфли. Прекрасный был бы вид: галифе с дудками до щиколоток и ковровые туфли. Интересно, мужа своего она одела бы так?

Он не сделал ни одной уступки ночному времени. Надел гимнастерку и аккуратно затянул скрипучий холодный ремень. И взял фуражку.

Кто-то должен подавать пример команде, черт бы побрал начальника.

В коридоре штабного вагона пепельно светились широкие окна. Пусто. Тихо, по-ночному сиротливо. Небо и поля плыли назад, светлые, без красок. Спит ли начальник? Данилов отодвинул бесшумную дверь купе, взглянул: начальник спал полураздетый, в брючках, в носках, по-детски поджав короткие ножки. Руки его были сложены ладонями и прижаты к подбородку, как будто начальник молился.

Рядом отворилось купе. Ординатор Супругов вышел в коридор, на нем был синий госпитальный халат и ковровые туфли.

– Вы тоже не спите, Иван Егорыч?

– Нет, я спал.

Он солгал, потому что ему не хотелось ни в чем походить на Супругова. Если Супругов не спит, значит, он, Данилов, должен спать. И наоборот.

– Я уже выспался. А вы?

– Мне, знаете, что-то не спится. Непривычная обстановка, должно быть, действует.

– Почему же непривычная? Едем в поезде, и все.

– Да куда едем? – хихикнул Супругов. Отвратительная у него эта манера – хихикать. Хорошие люди улыбаются или смеются громко.

– К фронту едем, товарищ военврач.

С высоты своего прекрасного роста Данилов рассматри-

вал Супругова. Дрейфишь, дрейфишь, доктор. Это тебе не в кабинете пациентов принимать: «Вздохните глубже. Вздохните еще раз…»

– Можем попасть в переплет, как вы думаете?

– Что же, мы лучше других, что ли? Очень просто можем попасть в переплет.

Супругов поднял робкие глаза. Золотой зуб Данилова блестел в пепельном свете ночи. Супругов сделал строгое лицо.

– Я не понимаю, – заговорил он другим тоном, быстро и раздраженно. – Такой поезд пускать на фронт – это вредительство. Фаина говорит, от первого разрыва все окна вылетят.

– Какая Фаина?

– Старшая сестра.

– Ее зовут Фаина? – Забытый запах исходит от этого имени, запах мокрых, тяжелых и нежных женских волос. Фу-ты, нашел что вспоминать. Это было почти четверть века назад. Да, двадцать два года. У старшей сестры волосы стриженые и завитые бараном. Туда же – Фаина.

– Это определенно вредительство, – сказал Супругов и сокрушенно закурил.

– Что вы предлагаете? – Скулы Данилова дрогнули. Если бы Супругов всмотрелся, он увидел бы ярость в его светлых глазах. Но Супругов был занят папиросой, которая почему-то потухла, – должно быть, гильза была рваная.

– Повернете стоп-кран? Пошлете молнию наркому: «За-

ступитесь за вагоны, их гонят под бомбы»?

Супругов понял, что над ним издеваются. Он ужасно обиделся. В конце концов, он не санитар, он военный врач.

– Я ничего не предлагаю. Но я могу иметь свое мнение. Я так же, как и вы, еду на верную гибель.

– Вы думаете?.. Ну что же, пока мы еще не погибли, я, с вашего разрешения, схожу проверить команду и посты.

Посасывая папиросу, которая опять потухла, Супругов смотрел Данилову вслед. Молодцеватая у комиссара выправка. Супругову стало неловко за свой халат. Он сам виноват, конечно. Не надо набиваться на частные разговоры. С Фаиной, вообще с девушками, еще туда-сюда. Но с комиссаром – ни в коем случае. С таким надо держать ухо востро.

В команде были открыты все окна с правой стороны, и все-таки было душно. Быстро обжили вагончик. У девушек над полками висели зеркальца, куколки и карточки милых. Не завели бы клопов за карточками милых. Придется проследить.

С краю внизу спала Лена Огородникова, смешная маленькая женщина, похожая на мальчишку, который помалкивает, а про себя затевает какое-то озорство. У нее и во сне было такое лицо, словно ее смешили. Зеркальце в форме палитры поблескивало у нее над изголовьем. Мальчишка, значит, тоже смотрится в зеркало. Против Лены, разметав могучие руки, бурно дышала и всхрапывала Ия, – дадут же любящие

родители такое имя дочери. Молодцы девушки – все как одна в мужских трикотажных рубашках или майках; в женской сорочке ни одной. Третьего дня он застал Ию спящей с оголенными плечами: растолкал и дал внеочередной наряд. Что за распущенность. Девушка должна быть стыдливой.

Вагоны были готовы к приему раненых. Койки с синими байковыми одеялами щеголевато заправлены. На несмятых подушках – полотенца, сложенные треугольником.

Пахло серой, щелоком, лаком и тем неуловимым, безымянным запахом, который присущ вагонам и вокзалам и не уничтожается ни окраской, ни дезинфекцией.

Эти обыкновенные «жесткие» вагоны предназначались для легкораненых. В каждом дежурил боец. Стоило стукнуть дверью, и навстречу двигалась темная фигура с винтовкой, с огоньком папиросы во рту.

Курить в вагонах запрещено; но Данилов не сделал замечания ни одному дежурному. Человек – не машина. Поезд шел к фронту, как знамя он нес свои красные кресты. Никто в поезде не надеялся, что эти кресты послужат им защитой. Каждый знал, что именно по красным крестам и будет бить враг.

В девятом вагоне дежурил Сухоедов, низкорослый человек с квадратными плечами и большой головой без шеи. Он был старше всех в поезде, кроме начальника. Данилов знал, что Сухоедов в свое время бил Юденича, в финскую кампанию пошел на фронт добровольцем и был ранен. 22 июня,

в день объявления войны, явился на призывной пункт и потребовал, чтобы его направили в действующую армию. Ни по годам, ни по здоровью он не подходил для строевой службы. Его послали в санитарный поезд. Вид у него был горько обиженный, словно его обошли наградой. В мирное время он работал на подмосковной шахте. В морщины его лица въелась угольная пыль. Детски лазоревыми казались на этом лице ясные голубые глаза.

Сухоедов стоял у окна и не пошел навстречу Данилову, только на секунду повернул голову и поманил пальцем. Данилов подошел. Вид у Сухоедова был необычный. Ни обиды, ни горечи. Вид охотника, идущего по следу зверя.

– Вот он где, видишь ты? – тихо спросил он.

На горизонте, за низкой темной полоской далекого леса, шевелился какой-то свет. И вдруг шагнул в небо луч прожектора и задвигался влево и вправо, неторопливый, беззвучный, неяркий. И другой луч шагнул откуда-то сбоку, лучи скрестились, замерли на мгновение и разошлись, шаря в небе.

– Его ищем! – сказал Сухоедов строго. – Ты ничего не слышишь?

– Ничего не слышу.

Сухоедов помолчал, вслушиваясь.

– Лупит, – сказал он нехотя. – Ох, здорово где-то лупит… – И, вытащив из кармана кисет, стал скручивать папироску.

– Куришь? – спросил он, протягивая кисет Данилову.

– Нет, не курю.

– Это, между прочим, правильно, – сказал Сухоедов. – От табака нападает по утрам такой кашель – не дай бог. И на фронте тому, кто не курит, в два раза легче: целая громадная забота с плеч – не думать о табаке. Ты не приучайся. Приучишься – конец.

Данилов усмехнулся.

– Тридцать восемь лет прожил – не соблазнился; теперь уж не закурю.

Сухоедов ребячески удивленно поднял брови:

– Да неужели тебе тридцать восемь?

– Тридцать девятый весной пошел.

– Молодо выглядишь, – задумчиво сказал Сухоедов, разглядывая Данилова. – Я бы тебе тридцать дал, ну – тридцать два от силы. Жизнь, что ли, легкая была?

– Легкая или нет – не знаю, – ответил Данилов, – но хорошая была жизнь у меня, я таких жизней еще штук сто бы прожил и не устал.

Они помолчали. И странно сказал Сухоедов:

– Тебя не убьют.

Лучи за окном опять скрестились, стали неподвижно, косым крестом.

Данилов и сам знал, что его не убьют. Не может его жизнь так вот просто взять и оборваться. Все только начато, ничто не закончено. Только отложено на время. Кончено только с

Фаиной. А может, – чем черт не шутит, – и ее когда-нибудь он еще повстречает. Станет перед ним, выгнув спину, закинув голову, встряхнет тяжелыми мокрыми волосами… «Расчеши их, Ваня», – скажет… Глупости, ребячий вздор, в котором никому нельзя сознаться, даже себе.

За вагонами для легкораненых шел вагон-аптека. Почему он так назван – неизвестно. Аптека занимала в нем маленькое купе. Остальные помещения были приспособлены под перевязочную, душевую и вентиляционную. В служебном купе стоял письменный стол для медицинского секретаря. Такая должность была в списке персонала. Человека с этим званием в поезде не было. Данилов не знал, что должен делать медицинский секретарь, и никто не знал; поэтому при укомплектовании штата Данилов попросту никого на эту должность не назначил.

Вагон-аптека был любимым вагоном Данилова. Он с первого взгляда влюбился в его белизну, никель, линолеум, в герметические двери, в откидные столики и стулья, прилаженные к стенам. Чистота и удобство были страстью Данилова. Он относился к любимому вагону ревниво. Платком тер оконные стекла – нет ли пыли. Аптекарша в первый же день ухитрилась пролить йод на голубовато-белый, только что выкрашенный стол. Данилов, увидев пятно, побледнел от огорчения. Клава Мухина, санитарка, сбивалась с ног, поддерживая эту невозможную, стерильную чистоту, которой требо-

вал комиссар.

И сейчас Клава была в душевой. Стоя у стола, низко наклонив темно-рыжую голову в чалме из марли, она собирала в оборку бинт. Окна были занавешены, горела лампочка.

– Что вы делаете? – спросил Данилов.

Она повернула к нему белое, в крупных веснушках, доброе и сонное лицо.

– Абажур, – сказала она с усталым вздохом.

– Еще один? На лампочку?

– Нет. На точку.

– На какую точку?

– Душевую.

Она была сонная и объясняла невнятно, но он понял, и ему понравилась затея.

– Ага! – сказал он. – Когда душевые точки не действуют, на них надевают абажуры, чтоб было красиво, так?

– Да, – ответила она, – только жалко, что марля. Лучше шелк. Голубой или розовый.

– Да, конечно, шелк лучше, – усмехнулся он. – Но шелка, Клаша, нет. А бинт можно покрасить синькой – будет голубой.

– А то еще, знаете, если бы красные чернила, – сказала Клава и доверчиво посмотрела ему в лицо. – Развести водой – будет розовая краска.

– Купим красных чернил, – обещал Данилов. – До первого магазина доберемся – сейчас же купим.

Рыжая девочка развеселила его. Он шел гремучими переходами и улыбался.

Кригеровские вагоны для тяжелораненых: никаких перегородок, просторно, как в палате. Белая краска. Три яруса подвесных коек с каждой стороны. Висячие шкафчики. Шезлонги. Здесь чувствовался госпиталь. Почему-то хотелось поскорее пройти мимо этих подвесных коек с боковыми сетками, как у детских кроватей.

И вот хвостовой вагон-изолятор, простой вагон, в конце которого помещается электростанция. Сюда и направлялся Данилов, здесь была главная цель его обхода, здесь он чуял беду.

Дежурного в изоляторе он не встретил.

Он постоял у двери электростанции: голоса, но ничего не слышно толком, мешает шум колес. В общем, тише, чем он думал.

Он отворил сразу. Никто не испугался, встал только дежурный боец Горемыкин, остальные продолжали сидеть. Кравцов, машинист электростанции, передвинул папиросу в угол рта, шлепнул картой по столу и сказал:

– Бью и наваливаю.

– Врешь, трефы козыри, – сказал вагонный мастер Протасов и тоже положил карту.

Молодой электромонтер Низвецкий вдруг сконфузился и встал.

Эти все, кроме Горемыкина, были специалисты высокой

квалификации – самый трудный народ. А Кравцов, кроме того, был вольнонаемный.

– Бутылочек ищите, товарищ комиссар? – сказал Кравцов, наблюдая Данилова. – Не трудитесь, бутылочки – тю-тю!

Он махнул рукой. Веки у него были красные, взгляд мутный.

Данилов сел на табурет и задумался. И специалисты замолчали, глядя на него, лица их стали озабоченными и серьезными. Горемыкин, за спиной Данилова, крадучись, виновато вышел, бережно прикрыл дверь… С Горемыкиным все ясно. С Горемыкиным – известный разговор. И этих трех он, Данилов, мог бы арестовать. Нарезались, сукины дети. Он еще днем, в Вологде, подметил, что они бегали и шушукались… Арестовать недолго. А дальше что?

– Сдай-ка, ну? – сказал Данилов встревоженному и бледному Низвецкому. – В подкидного дурака сдай.

Он сыграл с ними партию вдумчиво и истово, внимательно следя за игрой, приоткрыв маленький высокомерный рот, в котором блестел золотой зуб. Выиграл и встал.

– Вот как играть надо. Довольно, или танцы до утра?

Кравцов и Протасов хмуро молчали. Низвецкий сказал неуверенно:

– Да нет, поспать надо.

– Ну, пойдем, – сказал Данилов.

Низвецкий шел за ним по вагонам, тоскливо ожидая разговора. Данилов молчал и не оглядывался. Он отворял двери

– Низвецкий закрывал их. Громыхали колеса на переходах. Уже настоящая ночь накрыла мир, небо вызвездило, скоро утро.

В вагоне-аптеке Клава, сонно сопя, примеряла на душ абажур из оборочек.

– Смотри, что она придумала, – сказал Данилов Низвецкому. – Уют наводит. Погоди, она тут наделает такое голубое и розовое… Слушай! Я хочу здесь сделать радиоточку. Раненый придет на перевязку, посидит тут, послушает. Займешься?

– Можно, – пробормотал Низвецкий.

Данилов оглядывал его. Интеллигентный вид у парня, одет чисто, видно, что привык носить хорошую одежду.

– Что у тебя? – спросил он. – Почему тебя не взяли в строй?

– Геморрой, – отвечал Низвецкий, густо краснея.

Данилов удивился.

– Смотри, какую нажил стариковскую болезнь! А хотел бы в строй?

– Я шесть лет служил в поезде Москва – Владивосток, – сказал Низвецкий, волнуясь. – Я бы мог продолжать там служить, меня никто не трогал. Я сам попросился в санитарный поезд. Чтобы хоть чем-нибудь…

– А в санитарном поезде, – сказал Данилов, – дисциплина не меньше, чем в строю. И даже так я тебе скажу: что можно фронтовому человеку, то нам нельзя. Мы должны быть ан-

гелы. Херувимы и серафимы, да. Мы – братья и сестры милосердия… Этой водки, будь она проклята, – сказал он тихо и страстно, сжав кулаки, – не будет в поезде в самое ближайшее время, я тебе ручаюсь.

Еще двух недель не было, как шла война, а казалось, что она длится годы.

Утром 22 июня Данилов проснулся поздно и рассердился на жену: почему не разбудила. Ему хотелось провести этот день с сыном. И чтобы день был большой, чтобы и он, и сын насладились им. А жена пожалела разбудить и сократила праздничный, такой редкий отдых.

Сын влез на кровать, уселся верхом ему на ноги, – плюшевоголовый, в белом костюмчике, в синих носках. Солнце лежало на вымытом желтом полу. Настоящее лето только началось, а уже был загар на щеках и на ножках сына.

– Папа, мы пойдем?

Он обещал сыну прогулку. Обещал рано встать и сразу же идти. Из-за жены он проспал. Мальчишка мучился все утро. Мальчишка усомнился в отце.

– Пойдем, сын, вот только перекусим чего-нибудь и сейчас же пойдем.

– Ой, зачем ты чистишь зубы, – говорил сын, стоя около него, – ведь ты сегодня не пойдешь в трест.

Пока жена готовила завтрак, Данилов вышел в огород. Второй год он с женой жил в городе, он был директором треста, а жена все не могла привыкнуть покупать овощи в ма-

газине и сажала свои. Для картошки и капусты земли возле дома не хватало, картошку и капусту она сажала где-то за городом. Она ездила туда поездом полоть и поливать. Руки у нее были темные, крестьянские. Данилов говорил:

– Все жадность, готова в могилу себя загнать, лишь бы не переплатить лишнюю копейку.

А она отвечала:

– Как же без своей картошки?

Но в это утро вид зеленых грядок был приятен Данилову. Он ходил между ними и смотрел, как развилась помидорная рассада, скоро ли можно будет рвать салат, а сын садился на корточки и спрашивал:

– Как ты думаешь, редиска уже есть?

Вот в эту минуту он запомнил себя и сына, как на фотографии: он, Данилов, стоит между грядками, небо солнечное, мирное и радостное, и сын сидит на корточках и спрашивает:

– Как ты думаешь, редиска уже есть?

Это была последняя минута прежней жизни, с сыном, с воскресным отдыхом, с ленивыми мыслями о прогулке и пироге.

На крыльцо выбежала жена:

– Ваня, война!..

Он вбежал в дом. Радио договаривало слова, не оставляющие сомнений. Радио замолчало. Данилов поднял голову. Все стало другим. По-другому светило солнце. Другим стал

его дом. Другое лицо было у жены. Та минута покоя и созерцания ушла на годы назад. Все полетело и помчалось куда-то следом за его мыслями.

– Папа, а мы пойдем все-таки? – спросил сын.

Сыну было четыре года.

– Нет, – ответил Данилов, и сын заплакал…

В тот день Данилов разобрал свои бумаги, написал письмо отцу, сходил на почту и отправил старику денег.

Среди старых писем попался измятый конверт, из него торчали уголки фотографической карточки, – он не вынул карточку, бросил, не поглядев, на дно ящика.

Карточки сына он положил в бумажник.

Ночью жена плакала, тихо, чтобы не потревожить его. Он делал вид, что спит.

Она поймала какое-то его движение, приподнялась, сверху взглянула ему в лицо:

– Ведь тебе бронь дадут, Ваня?

Он отвернулся. Вопрос был решен утром, когда говорило радио. Завтра он пойдет в военкомат. А ей – меньше всего дела. Она – десятая спица в колеснице.

Наутро ему принесли повестку. Что ж, тем лучше. Не станут говорить, что он выскакивает. Пошел по мобилизации – и все.

В военкомате Данилова направили к Потапенке. Потапенко был приятель, директор санатория. В военной форме, наголо остриженный и помолодевший, он сидел за пустым сто-

лом, кругом толпились штатские люди. И хотя эти люди только что пришли, и хотя все окна были открыты настежь, в комнате уже так накурили, что дышать было нечем.

Потапенко протянул Данилову пухлую теплую руку.

– Эге, пришел. Бронироваться будешь?

– Нет.

– Ладно, обожди, – сказал Потапенко.

Совсем не обязательно было, чтобы Данилов так долго ждал, Потапенко принял раньше даже тех, кто пришел позже, – но Данилов понимал: Потапенко хотел перед ним покрасоваться. Ему было приятно, что вот Данилов еще в штатском и дожидается, а он, Потапенко, уже в военном и к нему приходят за назначениями и распоряжениями. Бабье, атласно выбритое, с двойным подбородком лицо Потапенки сияло от удовольствия. Он хмурил белесые брови, хотел скрыть сияние – ничего не получалось. Наконец он подозвал Данилова.

– Садись, – сказал Потапенко. – Ты в батальоне служил?

– В батальоне.

– Ладно, – сказал Потапенко, записывая в блокнот. – Пойдешь в санитарный поезд комиссаром. Постой, – сказал он, предупреждая возражения Данилова. – Все знаю, что скажешь. А все-таки пойдешь в санпоезд. Поезд надо формировать. Ты знаешь, как это делается?

– Нет. А ты?

– Я тоже не знаю, – сказал Потапенко. – Не боги жгут

горшки, Иван Егорыч.

– Не боги, – согласился Данилов.

– Инструкция есть, вот она. Ты грамотный – прочтешь. Людей бери каких хочешь, ссориться не будем – некогда.

– Кто начальник?

– Начальника еще нет, – отвечал Потапенко. – Будет и начальник, а ты формируй.

– Где поезд? – спросил Данилов.

Потапенко засмеялся.

– Поезда, брат, тоже нет. Поезд – в вагоноремонтном, еще не выпущен. А ты формируй.

– Есть формировать, – сказал Данилов, вставая.

У выхода он столкнулся с председателем месткома Григорьевым. Запыхавшись, Григорьев нес ему броню.

– Вы эту бумажку пришейте куда-нибудь, – сказал Данилов, – а Меркулову (это был его заместитель) скажите, чтоб вечером был в тресте, я приду сдавать ему дела.

Но в этот вечер он не пришел. Только 26-го дождался его Меркулов, уже получивший от наркомата официальное назначение на пост директора треста, на место Данилова.

Все эти три дня Данилов укомплектовывал штат санитарного поезда. Требовалось много народу: врач-ординатор, военфельдшер, перевязочная сестра, старшая сестра, младшие сестры, санитары, бойцы, кочегары, машинист на электростанцию, электромонтер, проводники, вагонные мастера… Не один Данилов бегал по городу в поисках нужных людей

– в городе формировали полсотни санитарных поездов, и в каждый были срочно нужны врачи-ординаторы, сестры, санитары, проводники…

На людей у Данилова был свой взгляд, этот взгляд многим казался странным.

Когда перед ним стоял вопрос: кого выбрать – уверенного, развязного городского фельдшера, шутника и здоровяка, или застенчивую, серенькую деревенскую фельдшерицу с двухлетней практикой, с молодым нервным, болезненным лицом, – он, не колеблясь, выбрал фельдшерицу.

И когда подошла к нему эта страшная, красная как индеец, горбоносая и подслеповатая Юлия Дмитриевна – перевязочная сестра, – он не испугался, а обрадовался. С первого взгляда он понял: это то, что надо.

Санитаров подбирали из мобилизованных бойцов. Красный Крест присылал девушек, окончивших курсы медицинских сестер.

Он приходил в казармы, где на узелках и чемоданах, как на вокзале, спали люди, и кричал:

– Военфельдшеры – есть? Фармацевты – есть? Кочегары есть? Товарищи, внимание!! Фармацевты – есть?

И вот к нему подошла маленькая женщина с мальчишеским лицом, задумчиво-плутоватым и смешливым. Голубая майка. Стриженые волосы.

– Вы фармацевт? – спросил Данилов.

– Нет, – отвечала она. – Я учительница физкультуры.

– Физкультуры не надо, – сказал он.

Она засмеялась.

– Я знаю. Я пойду в санитарки.

– Идите вы, – сказал он. – Для этого посильнее нужен народ.

Она опять засмеялась, живо нагнулась, подхватила его под коленки, и он почувствовал, что его подняли над полом. На секунду, но все же подняли.

– Здорово! – сказал он. – Что здорово, то здорово.

Она стояла прямо, дыхание у нее было легкое.

– Как зовут? – спросил он.

– Лена Огородникова.

Труднее всего было получить работников технических специальностей. Электромашинистов и монтеров забирали из-под носа у Данилова. Транспорт не хотел отдавать ремонтных рабочих. «Обойдетесь и так, – говорили Данилову, – все равно ремонтироваться приедете к нам».

Сам поезд еще не вышел из ремонтного завода. Ждали начальника поезда, чтобы принял состав. Военврач Супругов, ординатор, отказался взять на себя такую ответственность.

– Я маленький работник, товарищи, – сказал он.

Был он вежлив, смеялся всякой шутке, навязчиво угощал папиросами. Чувствовалось в нем беспокойство – видно было, что душа в этом щуплом штатском теле тоскует, не находит себе места.

Обедать и ночевать Данилов ходил домой. Жена встреча-

ла его с молчаливой растерянностью. Ему не хотелось ни о чем ей рассказывать. Она видела, что он уже без остатка принадлежит новому своему делу. Так было с совхозом, потом с трестом. Теперь с санитарным поездом. Эта душа никогда не жила дома. Дома для нее существовал только сын. Жена молча подавала Данилову еду, стелила постель. Лицо ее за эти три дня осунулось, стало некрасивым. По ночам она не выдерживала, начинала шептать:

– Меркулову дали бронь, главному бухгалтеру дали, даже Григорьеву – и тому дали…

– Ну? – спрашивал он с притворным хладнокровием, подавляя злость. – Ну, дали, и прекрасно, и что дальше?

– Тебе никого не жалко. Ни меня, ни Ванюшки, никого.

Он отворачивался.

– Довольно, я спать хочу.

Он почти не вспоминал о тресте, захваченный новой работой. 26-го выдались часа два свободных, он пошел сдавать дела Меркулову. Завернул в знакомый переулок. Увидел черную доску с золотой надписью: «Республиканский трест молочных совхозов». Правый нижний угол доски был надтреснут, он был надтреснут еще тогда, когда Данилов пришел сюда принимать дела. Знакомая лестница, щелкают счеты в бухгалтерии, трещит арифмометр. Дверь налево, обитая черной клеенкой… Его дверь. Его трест.

Передав Меркулову дела, он обошел комнаты и попрощался со всеми. Старуха-кассирша заплакала. Ему было

приятно, что она плачет. Сморкаясь, она сказала:

– А у нас-то машину забрали, вы слышали? Меркулов завтра выезжает в район поездом, можете себе представить?

Все были огорчены его отъездом, кроме Меркулова. Данилов заметил, что Меркулов рад. Конечно, он рад не тому, что сидит в директорском кресле; не такой это человек. Просто дорвался до самостоятельной деятельности, почувствовал свободу… Неужели он, Данилов, мешал ему?

Из треста Данилов пошел к Потапенке. Около Потапенки стоял старичок лет шестидесяти, что-то, жестикулируя, рассказывал. Увидев Данилова, Потапенко сказал:

– Вот, знакомьтесь с вашим начальником поезда. Доктор Белов.

Данилов взглянул на начальника: плохонький! Росту невидного, личико худое. Начальник еще не успел переодеться в военное: брючки, ботиночки, ай-ай-ай! Что с ним, таким, делать?

Вслух Данилов сказал, ободряя старичка:

– Ничего, товарищ начальник, сработаемся!

У начальника с собой был маленький чемоданчик, к чемоданчику привязаны валенки и чайник. Начальник приехал из Ленинграда.

Неожиданно он сказал бодрым, воинственным даже голосом:

– Ну что ж, знаете, ничего не поделаешь – будем воевать!

– Вместе, – сказал Потапенко и с наслаждением посмот-

рел на Данилова.

– Вот именно, вместе, – сказал старичок.

Данилов позвал его к себе ночевать. Начальник бежал резво, размахивая резиновым плащом, который он нес на молодецки выгнутой руке. Чемодан его, со всеми приложениями, нес Данилов.

– Зачем вы валенки привезли? – спросил он. – Что же вы думаете, нам в армии не выдадут валенок?

– А я, видите ли, никогда не служил, – отвечал начальник, – а показания, знаете, очень противоречивы. Кто говорит – выдадут, кто – не выдадут. А одна дама, знаете, сказала, что валенок не хватит на такую армию; и кому же тогда в первую очередь дадут? Не санитарам, ясное дело. И жена уложила… На всякий случай, а? Будут, знаете, стоять где-нибудь под лавкой, не помешают, а?

– Это конечно, – улыбнулся Данилов.

За ужином начальник с аппетитом кушал, пил и щебетал об архитектуре Ленинграда, а Данилов смотрел на него и думал: «Что мы будем делать с тобой?»

На другой день с утра он пошел договариваться с электромашинистом – остальные работники были уже набраны, а начальник отправился на вагоноремонтный завод принимать состав. Предварительно звонили по телефону на завод, в эвакопункт и на вокзал, и начальник самодовольно сказал Данилову:

– Вы меня найдете на вокзале вместе с поездом.

Данилов пошел на машиностроительный. Накануне он уговорился с директором, что тот отпустит машиниста Кравцова, если сам Кравцов выразит желание служить в санитарном поезде.

Данилов понимал, почему директор так расщедрился. Просто он не прочь освободиться от Кравцова под благовидным предлогом, без скандала. Очевидно, с Кравцовым не все в порядке. Данилов наводил справку в профсоюзе. Там отвечали уклончиво: машинист высокой квалификации, достоин всяких похвал, а так – какой же человек без греха?..

– Он что, выпивает? – спросил Данилов.

– С кем не бывает! – ответили ему.

У дизеля находился помощник; Кравцов завтракал. Он сидел на опрокинутом ящике с бутылкой молока в руке. У него было сухое, изможденное и строгое лицо угодника. Горячий ветер, поднятый дизелем, развевал седой хохолок над его лбом.

– Ну как? – спросил Данилов. – Согласны в санитарный поезд?

Кравцов поставил бутылку на пол и тыльной стороной ладони вытер губы. Неподкупно-суровым взглядом он рассматривал Данилова.

– В поезд? – переспросил Кравцов. – Я – хоть под поезд! Выручайте меня отсюда, я тут ни одного дня не желаю быть.

– Что так? – спросил Данилов ласково. – Не поладили?

– Знаете что, товарищ комиссар, – сказал Кравцов, – да-

вайте играть в светлую. Я не мальчик. Это понятно?

– Вполне, – сказал Данилов.

– Я обучил всех дизельщиков, сколько их ни есть в городе. Мне этого не надо, чтобы комсомольцы делали мне замечания.

Он встал и вложил маленькие замасленные руки в карманы широких замасленных штанов.

– В стенгазете – Кравцов. На собраниях – Кравцов. Выговор в приказе – Кравцову. Мне самокритики этой не надо. Я вам заявляю откровенно. Орут, что я в пьяном виде попаду под колесо. Я – под колесо! – Кравцов усмехнулся, как Мефистофель. – А спросите у них: была у нас хоть одна, хоть пустяковая авария с энергией?.. Вот сейчас как, по-вашему: я выпивши?

– Немножко, – осторожно сказал Данилов.

Кравцов покачал головой.

– Нет, не немножко, а в самую меру, по утреннему времени. И вот – будет перерыв, и они придут меня нюхать и делать свои замечания. Забирайте меня, товарищ комиссар, к чертовой матери, если, конечно, вас устраивают мои условия.

Они посмотрели друг другу в глаза. Взгляд Кравцова был холодно-самоуверенный, и взгляд Данилова был холодно-самоуверенный.

– Я вас забираю, – сказал Данилов.

Закончив дело с Кравцовым, он поехал на вокзал. На дальних путях, около какого-то длинного серого забора, сто-

ял новенький блестящий состав: пятнадцать темно-зеленых вагонов с красными крестами, один товарный и маленький желтый вагон-ледник. Стояла охрана – красноармеец с винтовкой.

Начальник был в штабном вагоне. Он ходил по коридору и гремел ключами. Полупудовая связка ключей висела на его согнутом локте. Солнце било во все окна; пахло нагретой краской. Лицо у начальника было сморщенное, потное и счастливое.

– Вот! – сказал он, показывая Данилову связку. – От всех дверей, от всех сердец.

– Все в порядке? – спросил Данилов.

– Ну, а как вы думаете! – сказал начальник. – Там, знаете, целая комиссия была при сдаче.

– И вы все осмотрели?

– Я?.. Да.

Данилов пристально поглядел на него. Начальник опустил голову.

Он не осматривал ничего. Ему дали связку ключей, он расписался в акте, влез в штабной вагон, прицепили паровоз, и начальник поехал, забавляясь мыслью, что он один едет в семнадцати вагонах. Поезд остановился перед серым забором. Паровоз свистнул и ушел, а начальник стал прогуливаться по коридору, нетерпеливо поджидая Данилова. К Данилову он уже чувствовал привязанность.

Данилов сам прошел по составу. В самом деле, все, по-ви-

димому, было в порядке. Так ему казалось по крайней мере. Кое-что было непонятно. Например, цинковый ящик с двумя отделениями и откидной крышкой в вагоне-кухне. Над ящиком находились краны, полочки и крюки. Данилов долго стоял и размышлял, для чего этот ящик. Позвал на консультацию Соболя, начальника АХЧ. Вдвоем сообразили: конечно, ящик – для мытья посуды.

В поезд начали сходиться люди. Поезд заселялся. Подъезжали грузовики с тюфяками, бельем, медикаментами. Данилов вместе с Соболем считал, осматривал, распоряжался – куда что поместить. Юлия Дмитриевна, перевязочная сестра, с алчным видом уносила в вагон-аптеку свертки с бинтами и ватой. Аптекарша залила йодом столик. И аптекарша, и Юлия Дмитриевна сразу надели белые халаты и повязали голову белым – и стало казаться, что в вагон-аптеку невозможно войти без халата. Кочегары пробовали отопительные котлы кухни и воровали на станции уголь. Девушки стелили постели, запевали песни и посматривали на Богейчука, красавца-старшину. Начальник АХЧ Соболь с Богейчуком и другими людьми сходил на продовольственный пункт и принял продукты. Лена Огородникова шла впереди всех, маленькая, легкая и прямая, с трехпудовым мешком риса на плече.

Рис, сгущенное молоко, шоколад и масло Данилов велел запереть отдельно. На ужин он приказал сварить для всего личного состава пшенную кашу.

Санитарный поезд вышел к фронту. Медленно шел он от станции к станции; по полдня простаивал на глухих разъездах. Эшелоны с красноармейцами, танками и орудиями обгоняли его. Он уступал им дорогу и двигался вслед за ними, неторопливо и неотвратимо.

На станциях ставили его на дальних путях, в стороне от вокзальной суеты. На платформах бегали, прощались, ругались, целовались, плакали, махали платками… И в угрюмом молчании смотрели на него люди, когда он проходил мимо них, нарядный и чистый, со своими красными крестами и белыми занавесками.

В ночь, описанную в начале этой главы, санитарный поезд приближался к Пскову.

Данилов шел через вагон команды, возвращаясь с обхода. Вдруг сильный толчок швырнул его в сторону. Он ударился плечом об угол верхней полки. Заскрежетали колеса. Поезд остановился.

– Что такое? – громко спросил впотьмах женский голос.

– Что такое? – спросил в темноту Данилов, высунувшись с площадки.

Покачивая фонарем, вдоль поезда шел кондуктор.

– Красный огонь, – объяснил он, проходя. – Путь закрыт.

Опять вырвался луч прожектора. Теперь, на фоне настоящей ночи, он был слепяще ярок. Беззвучный, перечеркнул он черное небо и медленно шатался вправо и влево, ища и не находя.

Глава вторая
Лена

За десять месяцев до начала войны Лена Огородникова вышла замуж.

В пригородном поселке был смотр художественной самодеятельности. Среди певцов, танцоров и декламаторов должны были показать свои успехи и поселковые акробаты. Районный совет физкультуры командировал на смотр Лену.

Коммунхоз снарядил грузовик. Лена села в неуютный пыльный кузов на заднюю скамейку. На боковых скамьях сели незнакомые товарищи из каких-то учреждений.

Незнакомые товарищи были в кожаных пальто и резиновых плащах, с портфелями. А Лена была в голубой майке, которую она ушила в талии, чтобы лучше обрисовывалась фигура. Рукава майки она засучила выше локтя. Теперь ей хотелось опустить их до самых пальцев, но она стеснялась. Она сидела одна, вдали от всех, и ее подбрасывало на каждом ухабе. Стриженые волосы секли ее по лицу.

Мужчины громко разговаривали и смеялись чему-то. На Лену они не обращали внимания.

День был знойный. Из-за горизонта лезла лиловая туча. Она поднялась, прикрыла полнеба и, не удосужившись даже закрыть солнце, разразилась ливнем. Водяная стена упала перед глазами. Голубая майка, юбчонка, стриженые воло-

сы – все промокло вмиг. Ручьи заструились по лицу и по спине Лены. Мужчины укрылись с головою своими пальто и плащами и что-то кричали оттуда. Шофер был невозмутим в своей закрытой кабине. Лена мокла и думала: «Какие они все хамы».

Вдруг один из мужчин встал. Не снимая пальто с головы, пригнувшись, он перешел к Лене и сел рядом.

– Давайте-ка вот так! – сказал он и накрыл ее с головой краем своего кожаного пальто.

Она очутилась с ним вдвоем в тесной палатке. Ей пришлось сжаться, чтобы можно было укрыться хорошенько. Ливень барабанил по пальто.

Ей было так холодно и мокро, что она не чувствовала ни малейшего стеснения. Только сердилась, что помощь пришла так поздно. Когда догадался, дурак.

Ее голова была около его груди. Она смотрела вниз и видела только свои стиснутые мокрые колени под натянутой, тяжелой, как брезент, мокрой юбкой да кусок клетчатой подкладки пальто.

И вдруг она услышала у самого уха медленные громкие удары. Это билось сердце. Его сердце.

Она удивилась, прислушалась. Ей-богу, оно сначала не билось. То есть билось, конечно, но обыкновенно, без стука. А теперь оно билось необыкновенно.

Почему оно так бьется?

Ей страшно захотелось увидеть его лицо. Ведь неизвест-

но, какой он. Может быть, такой, что пусть лучше сердце не бьется? Нет, какой ни есть, а оно все равно пускай бьется.

Оно билось.

Двумя пальцами, не пошевельнувшись, она проделала в палатке спереди маленькую щелочку, чтобы было светлее, и, осторожно повернув голову, снизу заглянула ему в лицо.

Лицо было затененное, нахмуренное, встревоженное. Черные глаза смотрели вниз, на Лену.

Она поскорее нагнула опять голову и больше не поднимала ее. Теперь в кожаной палатке стучали уже два сердца.

Закрыв глаза, она слушала эту грозу, эти разряды – в себе и в нем.

Горячий вихрь поднимался в ней – стыд, и радость стыда, и гордость, и удивление, и восторг.

Дождь кончился, и он встал.

– Ну вот, – сказал он, улыбаясь как-то растерянно. – Кажется, подъезжаем… А вы сидите, сидите пока так! – добавил он поспешно и натянул пальто ей на плечо. – Простудитесь…

Но ей было грустно сидеть так одной. Она сбросила пальто и стала отжимать подол юбки. Солнце опять жгло. В грузовике по щиколотку стояла вода. Пахло щедро орошенной землей, мокрой гречихой, мокрой полынью, – чудесный был воздух. И лицо у него чудесное. А чудеснее всего был дождь, только зачем он так скоро перестал: шел бы себе и шел.

Приехали. И, ничего не видя, кроме того, что было в ней,

забыв о смотре, об акробатах, о том, что она вся мокрая, она сошла с грузовика.

До сих пор Лена не любила никого на свете.

Ей не к кому было привязаться. Жизнь несла ее мимо людей, мимо вещей, мимо домов. У нее никогда не было своей семьи, своей комнаты. Даже имя у нее менялось несколько раз. Мать крестила ее Валентиной и звала Валей. В детском доме было шесть Валентин; для отличия ее стали звать Тиной. К тому времени, как она выросла, ей надоело ее имя. Она переименовалась в Елену.

Она не любила вспоминать. Когда ей было лет шесть, ей удаляли аппендикс. Она лежала в городской больнице, в детской палате. После наркоза ей было тяжело, она давилась горькой слюной, некому было стереть эту слюну с ее губ, а позвать она не могла. Около других детей сидели матери, пришедшие их проведать. Лену положили за ширму. «Не ори, никакой тут боли нет!» – сказала толстая нянька, когда Лена застонала. Лена перестала стонать. Кто-то за ширмой спросил:

– Это чей тут у вас ребенок?

Сиделка отвечала:

– Ничей, это детдомовский.

У матери было плохо. Мать любила выпить: чуть заводились деньги – появлялись водка и огурцы, и какие-то женщины пили, пели, хохотали и давали матери советы:

– А ты на него в центр подай, на подлеца. Ежели он такой подлец, надо в центр подавать, и только.

Подлеца Лена раза два видела. Мать умывала ее, одевала почище и вела на базар к какой-то нэпманской лавочке. Около лавочки, прямо на улице, стояла большая жаровня; в ней, вкусно скворча, жарилась баранина, нанизанная кусочками на деревянные палочки. В лавочке был стол, на нем – солонка, перечница в виде бочонка и тарелка с нарезанным зеленым луком. Подлец был хозяин всего этого. Он сам резал мясо, жарил его и подметал пол. Лена и мать садились к столу и ели баранину, снимая пальцами кусочки с палочки. Жир тек по Лениным рукам до локтей, оставляя кривые дорожки. Хозяин подсаживался, утирал пот с лица грязным фартуком.

– Ешь, – говорил он Лене, вздыхая. – Ешь, вот эта помягче будет, – и, выбрав на ощупь, подкладывал ей новую палочку. Он был немолод, с желто-серыми усами, одна нога у него была деревянная.

Мать, вся в жире, как в слезах, говорила:

– Живо-жаль смотреть, одни дети чистые ходят, а другая – осень и зиму без башмаков, а чем она хуже?

– Вы ешьте, вот эта помягче будет, – бормотал хозяин, подкладывая ей в тарелку. – А что я сделаю, если у меня полон дом народу? Еще падчерица с детями приехала гостить, и налог прислали такой, что прямо удивительно, из чего платить, из каких доходов… Баранина подорожала, клиентура плохая, иди в чистильщики, и только.

– Тогда не надо обольщать, не надо заманивать! – говорила мать.

Хозяин глубоко вздыхал и говорил как бы про себя:

– Если б вы могли дать мне доказательства, совсем другой был бы разговор.

– Господи! – говорила мать, прижимая к груди палочку с бараниной.

Лена слушала их и смотрела на перечницу. Даже уходя, она все оглядывалась на перечницу, но попросить боялась.

Перед прощанием хозяин давал матери денег. Лена шла с матерью в рыбные ряды, мать покупала закуску, потом заходила за водкой, дома опять собирались женщины, пили и пели, и мать, вся красная, кричала:

– Я ему дам, подлецу, доказательства, он у меня узнает, как завлекать, сукин сын, дегенерал собачий!

– В центр, в центр на него подавай! – советовал хор. – Им, брат, потачку давать – они еще не то будут делать!

Мать служила сборщицей утильсырья. Иногда она исчезала на два, на три дня. Однажды она вернулась с каким-то мужчиной. Они поужинали и легли спать на кровати, а Лену мать положила на стульях, сдвинутых вместе. Утром Лена проснулась, подошла к кровати и стала рассматривать гостя. Он спал с краю, свесив почти до полу толстую руку. На руке налились синие жилы. Пальцы до половины были покрыты густыми черными волосами. Лене стало противно. Она взяла щепку и ударила гадкую руку по синим жилам. Рука про-

должала спать.

К обеду мать встала, сбегала в лавку, и они с гостем сели за стол. Лене дали полстакана пива и кусок заливного. Из разговора она поняла, что мать собирается куда-то уезжать. Она обрадовалась. От пива она сначала стала смеяться, а потом заснула там, где сидела. На другой день мать повела ее на какую-то улицу и показала ей двухэтажный белый дом с облупившейся штукатуркой.

– Сюда придешь, – сказала она. – Заходи себе прямо, без никаких. Скажешь – сирота, мол, ни отца, ни матери, никого нет.

Мать испекла пироги, товарки принесли посуду, был большой пир. Мать то плясала, растрепанная, в новой шелковой кофте, то садилась к столу и подпирала щеки кулаками.

– Судьба моя, любовь моя, – говорила она. – И кто его осудит? Тот от своего отказывается, а этот, что ли, подбирать должен? Ежели б он, подлец, платил мне элименты какие следует, а то бараниной, сволочь, норовит отделаться, а я что за дура. У меня еще дети будут.

– Будут, будут, Паша, надейся! – кричал гость, и опять она шла плясать в своей голубой кофте, которая становилась на ней дыбом, как древесная кора.

Лена устала от гвалта и топота. Она надела свою рваную вязаную шапку, единственную, которую она носила зимой и летом. Взяла баночку от мази и рукоятку от шила – свои иг-

рушки. Потихоньку – никто не заметил – она вышла на улицу и прямо пошла к двухэтажному белому дому с облупившейся штукатуркой.

– Я сирота, – сказала она двум большим стриженым девочкам, которые стояли у ворот, – у меня ни отца, ни матери, никого нет.

Девочки молча, серьезно смотрели на нее сверху вниз. Подняв к ним лицо, она повторила заученные слова. Одна девочка спросила:

– А тебе сколько лет?

Другая спросила у первой:

– Позвать Анну Яковлевну, да?

Лена заглянула в ворота. Там была площадка и качели, и зеленая травка кругом.

– Я сирота, – весело повторила Лена.

Пришла Анна Яковлевна, взяла Лену за руку и повела в дом.

Там Лену окружили взрослые и стали спрашивать: кто ее научил прийти сюда и где она живет. Они были большие; чтобы разговаривать с нею, они посадили ее на стол, а она их все-таки перехитрила.

– Меня никто не научил, – отвечала она, болтая ногами. – Я нигде не живу.

Она понимала, что они хотят отправить ее домой. А ей хотелось остаться в этом доме с качелями и зеленой травкой.

– Я хочу жить тут, – сказала она откровенно.

Взрослые засмеялись, и мужчина в золотых очках сказал:

– Надо заявить в милицию.

Все-таки она ночевала в этом доме, на кухаркиной кровати. Кухарка выкупала ее в корыте и остригла ей волосы. Весь вечер и все утро большие дети качали ее на качелях. Маленьких детей в доме не было.

Кухарка, купая Лену, сказала с негодованием:

– Я бы такую мать мордой об стол… Что она делала с ребенком, что он обовшивел весь?

Пришел милиционер. Мужчина в золотых очках отозвал Лену в сторону и по секрету сказал ей, что милиционеру надо говорить всю правду, иначе будет плохо: милиционер заберет в милицию.

– Ну и пусть! – ответила Лена. – Ну и пусть, а я не боюсь милицию.

И она сказала милиционеру, что она сирота и нигде не живет.

– А что твоя мама делает? – спросил милиционер.

– Собирает тряпки, – ответила Лена.

Все стали смеяться. Так или иначе, маму, собиравшую тряпки и имевшую маленькую дочь по имени Валентина, найти не удалось: она уже уехала, и Лену отдали в детский дом для маленьких детей.

Там она жила год. Она была неприхотлива и снисходительно относилась к людям. Ни к кому не привязываясь и ни от кого ничего не требуя, она прощала всем. То, что ей да-

вали, она принимала с удовольствием, но без благодарности.

Она быстро привыкла к людской заботе и не видела ничего удивительного в том, что ее кормят, одевают, учат читать, что какие-то женщины стирают ее платья и готовят ей пищу, а другие женщины хлопают перед нею в ладоши и поют:

Мы своими ножками
Топ, топ, топ,
А потом ладошками
Хлоп, хлоп, хлоп…

Кроме того, они пели: «Вихри враждебные веют над нами» и «Вставай, проклятьем заклейменный». К пению Лена относилась как к неизбежной повинности.

Через год дом расформировали, и Лену перевели в другой детский дом, в другой город. Тут зима была длиннее и холоднее, и печки топили не углем, а дровами; а остальное было все так же.

Она росла. Девочка Валя – та была раньше, давно, та была другая. Теперешнюю звали Тиной. У нее было жилье и не было дома. Были подруги и не было семьи. О ней заботились, но без нежности. Ее не обижали и не ласкали.

Она аккуратно исполняла все, что от нее требовали: она не любила, чтобы ее бранили. Когда ей было лет семь, к ним назначили нового заведующего, комсомольца.

– Отставить, – сказал он, прослушав песню «Мы своими ножками». – Вы мне из детей кретинов вырастите. Они у вас

уже почти кретины. Им нужна физкультура.

Физкультурные занятия Лене понравились. Она была самой ловкой и сильной. Ее стали хвалить, это было приятно. С тех пор она старалась все делать так, чтобы ее похвалили.

В седьмом классе преподавали Конституцию.

Учитель прочитывал статью из Конституции и потом долго объяснял, что эта статья – хорошая и справедливая. Лена смотрела на учителя и думала: зачем он так старается объяснять то, что всем понятно?

Она жила уже в пятом детском доме, была комсомолкой, училась на курсах физкультуры, ее звали Еленой. – Опять он о том же, только с другого конца взялся… Он доказывал, что Советское государство – самое правильное в мире… Для Лены не существовало никаких других государств, кроме Советского. Она была ребенком этого государства. Оно было ее домом, ее землей, ее небом. Любому человеку на этой земле она могла сказать: товарищ. От любого могла принять хлеб и с любым поделилась бы хлебом. Без страха она входила в любое учреждение. И пока разговор был официальный, деловой – она держалась уверенно, была находчивой и остроумной. Но стоило разговору коснуться ее личных дел – она начинала дичиться и замыкалась в себе: она не привыкла к таким разговорам.

Два раза она чуть-чуть не привязалась к людям больше, чем нужно.

Кончив курсы, она поступила преподавателем физкультуры в железнодорожную школу и стала жить в железнодорожном общежитии.

Секретарем районного совета физкультуры была Катя Грязнова. У нее были черные глупые и добрые глаза и щеки – как окорока. К физкультуре она отношения не имела; от сидения в канцелярии оплыла жиром. Леной она восхищалась.

– Как ты живешь в общежитии! – говорила она. – Ни подать, ни принять некому…

Она приглашала Лену к себе. Лена пошла. У Кати была мама, а у мамы – домик в три комнаты, корова и садик с малиной. Чай пили из самовара под черемухой. На Катиной кровати лежало штук пятнадцать подушечек, вышитых мамиными руками. Лена смотрела на эти подушечки, как в детстве на перечницу.

– Да, хорошо ты живешь, – сказала она с невольным вздохом.

– Переходи к нам жить, – сказала ей Катя. – Будем жить как сестры. Будешь платить, сколько можешь. У нас корова хорошая, ты поправишься. А то ты – как скелет.

– Переходите, Леночка, к нам, – сказала и Катина мама. – Катечка очень вас полюбила. Нехорошо барышне в общежитиях этих. Не дай бог чего.

Катина мама была тихая, с лицом в лучистых морщинках, с глазами такими же добрыми, как у Кати.

Лена перешла к ним. Ей поставили кровать в комнате Ка-

ти. Катя собственными руками переложила на эту кровать половину своих подушечек. Лену поили парным молоком. Жить стало легко и удобно. Но скоро этой благодати пришел конец.

К Кате ходил в гости молодой человек, друг детства. Он служил где-то помощником бухгалтера, а по вечерам играл на мандолине в садике под черемухой. Лена презирала его за то, что он не физкультурник. Она не могла бы даже сказать, какого цвета у него глаза.

Как-то, придя вечером домой, она застала Катю в слезах.

– Что ты? – спросила она с искренним участием.

– Ничего, – ответила Катя. Она подавила слезы и сидела надутая, не глядя на Лену.

Из соседней комнаты послышалось бормотанье Катиной мамы:

– Это уж я не знаю, что такое, – за добро так отплатить людям.

– Что у вас случилось? – спросила Лена.

– Коли со мной по-хорошему, – продолжала Катина мама, входя в комнату, – то и я обязана поступать по-хорошему, а не так.

– О чем вы? – спросила Лена, не подозревая, что все это относится к ней.

– Мы с вами, Леночка, поступили как с родной, – сказала Катина мама. – А вы вон чего делаете, это разве мыслимо, это только в нынешнее время стали барышни себе позволять.

– Я не понимаю, – сказала Лена, – о чем вы говорите. Я ничего плохого вам не сделала.

– Не надо оправдываться, милая, не надо оправдываться. В таких делах всегда женщина виновата. Парень – что малый телок: его куда потянут, туда он и идет.

– Вы что думаете, – спросила Лена, удивившись, – что я влюблена в Катиного жениха? – Она засмеялась. – Я не влюблена в него!

– Никто, Леночка, вам и не говорит, что вы влюблены, – отвечала Катина мама. – А что он в вас влюбился, так это с вашей стороны – уж вы нас извините – вовсе нехорошо и непорядочно.

Катя упала головой на стол и зарыдала.

– Мне это неизвестно, – сказала Лена зазвеневшим от злости голосом. – Ну его к черту, на черта он мне сдался?

– А мы этого не знаем, на черта или нет. Молодой человек, непьющий, интересный, жалованье хорошее…

Лена ушла в комнату, где они спали с Катей, и легла на кровать. Ей захотелось уйти из этого дома.

Вошла Катя, подсела и обняла ее.

– Не сердись на маму, – сказала она. – Я знаю, что ты не виновата. Просто все мужчины – подлецы.

Лене вспомнился подлец с бараниной. Она засмеялась. Катя поцеловала ее, гордясь своим великодушием. Они пошли ужинать. Лена пила парное молоко и думала: «Не хочу. Уйду».

Через несколько дней она получила от Катиного жениха записку с объяснением в любви. Она разорвала записку и возвратилась в общежитие.

Второй случай был за полгода до ее замужества.

В общежитии, в нижнем этаже, жили мужчины. Наверху, у женщин, было чисто. На плите стояли блестящие алюминиевые кастрюльки и небесно-голубые чайники. Мужчины жарили яичницу и грели воду для бритья в эмалированных кружках, закопченных до черноты. Они харкали, плевали и бросали окурки на пол. Лена избегала знакомства с ними.

Однажды, когда она проходила по нижнему коридору, ее остановил какой-то.

– Товарищ, – сказал он глубоким баритоном, – простите, у вас градусника нету?

– Какого градусника? – спросила Лена, остановившись.

– Обыкновенного, измерить температуру, – ответил баритон. – Чувствую, понимаете, что жар, и нечем измерить.

– Сейчас спрошу, – сказала Лена и пошла к себе наверх.

У ее соседки нашелся градусник. Она вернулась вниз.

Баритон доверчиво ждал ее на том же месте. Он поблагодарил и спросил, в какой комнате она живет. Через четверть часа он постучался к ней.

– Тридцать девять и четыре, – сказал он, как будто она его об этом спрашивала. – Вот, будь она проклята, никак с нею не развяжешься.

– А что у вас? – спросила Лена, в жизни не болевшая ни-

чем, кроме аппендицита.

– Малярия.

Он топтался у дверей, ему не хотелось уходить. У него было длинное, худое, горбоносое и вдохновенное лицо.

– И хина кончилась, – сказал он, мученически закинув голову, как Христос, говорящий: «Впрочем, не моя да будет воля, но твоя». – Но я сейчас схожу в аптеку. Я привык выходить с любой температурой, – сказал он и махнул рукой.

Была зима, градусов двадцать мороза. Лена сказала:

– Давайте рецепт, я схожу.

– Ну, что вы! – сказал он. – Зачем это?

– Как хотите, – сказала она.

– Это стоит рубль двадцать копеек, – сказал он и дал ей рецепт и рубль двадцать копеек. Пальцы у него были очень тонкие; доставая деньги из кошелька, он отставил мизинец.

Она принесла ему хину и напоила чаем с лимоном. Ей было жалко его.

Они подружились. Каждый вечер он стучался к ней. Когда он чувствовал себя плохо, она спускалась к нему и ухаживала за ним. Он рассказал ей все о себе. Он был инженер. Она удивилась: она не думала, что инженеры живут в общежитиях вместе с кондукторами.

– У меня была прекрасная квартира, – объяснил он. – Я оставил ее жене.

У него было четыре жены. Все они, по его словам, ушли от него. Уходили они странно: квартира и все имущество оста-

валось у них, а покинутый баритон налегке переселялся в другое, холостяцкое жилье. От двух жен у него были дети.

– Чудесные девочки, – сказал он, вздохнув.

– Почему же, – спросила Лена, – вы ни с одной не могли ужиться?

В ответ он засвистел. Свистел он очень красиво, совсем не так, как свистят мальчишки на улице. «Это из Четвертой симфонии Чайковского», – объяснил он, кончив свистеть. Потом спросил Лену, любит ли она стихи, и прочел ей стихи Асеева: «Нет, ты мне совсем не дорогая, милые такими не бывают». Стихи взволновали ее, она никогда не слышала ничего подобного, ее знакомство с поэзией ограничивалось хрестоматией для седьмого класса. Стихов он знал уйму и мог читать их в любое время дня и ночи. Они стали засиживаться допоздна. Она чувствовала потребность видеть его и слушать его чтение… Но как-то раз у него в комнате, читая ей «Цыган» и прочитав последние строчки: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет», он тем же своим прекрасным голосом сказал: «Я вас люблю» – и накрыл ей рот мокрыми губами, пахнущими табаком. Она вскочила и так оттолкнула его, что этот хилый малярик стукнулся спиной о дверь.

– Сильно! – сказал он после молчания.

Она стояла, выпрямившись и сжав маленькие кулаки, потом легким, быстрым шагом прошла мимо и вышла вон, не поглядев на него.

У себя в комнате она выполоскала рот. Этого ей показалось мало. Она вычистила зубы порошком. У нее было такое чувство, словно она проглотила какую-то дрянь.

И вот пришла любовь.

Такой не было ни у кого.

– Поцелуй меня…

Кого еще целовали так?

– Спи, маленькая. Тебе не твердо на моей руке?

Кого еще берегли так?

– Поцелуй меня…

В первый раз в жизни у нее была своя квартира. Это была всего одна комната, но, господи, сколько в ней было вещей! И зеркальный шкаф, и стол раздвижной с толстыми ногами, и письменный стол, и диван, и стулья! И еще в кухне был шкафчик с посудой. И все это принадлежало ей, а она принадлежала Даниилу, Даниле, Дане, Даньке, – бывают же такие прекрасные имена! Двадцать лет она была ничья и теперь с восторгом шла под руку законного хозяина.

Она считала его пожилым: ему было уже двадцать восемь лет. Ей нравилось, что он уже не так молод: по ее мнению, это и ей придавало солидности.

Ему нравилось делать ей подарки: каждый пустяк она принимала с такой радостью! «У меня никогда не было таких туфель, – говорила она. – У меня никогда не было такого платья». И, тронутый, он говорил:

– Радость моя, у тебя должны быть десятки таких пла-

тьев…

Даже обыкновенный шоколад она съедала с таким наслаждением, что приятно было смотреть на нее.

Хозяйничая, она надевала передник, и у нее был такой вид, словно она всю жизнь только и делала, что занималась хозяйством в собственной квартире.

Жизнь оказалась полной счастья и чудес. Любовь преобразила Лену: у нее была теперь другая походка, она по-другому держала плечи. Голос стал грудным и воркующим. Глаза потемнели и сузились. Она светилась торжеством, на нее оглядывались на улице, и это усиливало ее торжество.

Так прошло десять месяцев. Десять месяцев – триста дней, триста ночей.

Его мобилизовали сразу.

Это был страшный день. В первый раз она увидела, что в его жизни первое место занимает не она.

Он двигался по комнате, собирая какие-то свои вещи, и рассеянно отвечал ей…

Она не обиделась. Дело было не в обиде. Просто впервые она увидела его с этой стороны.

Первое место в его жизни занимало какое-то мужское дело, сейчас это дело призывало его. Он еще не ушел, а уже он ей не принадлежал.

Иначе не могло быть. Она закрыла лицо руками. Если б было иначе, она разлюбила бы его.

Нет. Не разлюбила – разлюбить невозможно; но торжество ее померкло бы. Она была спортсменка, амазонка, победительница в состязаниях, она понимала такие вещи. Торжествовать можно только победу над сильным. Много ли чести победить слабое сердце? У него было сильное сердце. Она гордилась им.

Что-то надо сделать, чтобы он понял, как она все это поняла. Чтобы он ушел довольный ею.

Прежде всего надо скрыть свое отчаяние. Он хорошо держится – просто, спокойно. Шутит. Она тоже может так.

И надо помочь ему собраться. Уселась, сложила руки, как в гостях. Вот он кладет в рюкзак рубашку, а на ней нет пуговицы, она помнит.

– Постой, Даня, я сама.

Она вынула белье из рюкзака и все пересмотрела и починила. Собрала провизию – немного, он так просил. Напомнила взять тазик и кисточку для бритья. И крем для сапог. И щетку. Уложила конверты, бумагу, спички.

Он сел и смотрел, как она укладывает его вещи. И это тоже так и должно быть: муж сидит, отдыхая, и курит, пока жена снаряжает его на войну.

А когда сборы были закончены и он подошел к ней, чтобы приласкать на прощанье, – она положила его голову себе на грудь и смотрела в его лицо с новым чувством – бесконечной близости и нежности, от которой разрывалось сердце.

Она была его сестрой, она была его матерью, как прежде

она была его любовницей. Она была для него всем на свете.

Она проводила его на вокзал и простилась с ним без слез. Он спросил ее:

– Что ты будешь делать без меня?

Она ответила, виновато улыбнувшись:

– Я еще не придумала.

Он посмотрел на нее, и в глазах его мелькнула тревога:

– Ты придумаешь что-нибудь не очень сумасшедшее, да?

Она пообещала:

– Нет. Не очень.

– Маленькая, пожалуйста, без романтики. Воевать надо трезво.

– Я без романтики.

В последний раз они поцеловались отчаянным поцелуем, после которого невозможно ничего больше говорить. Он вошел в вагон. Ничего не видя, она пошла с вокзала.

Ничего не видя, она вернулась домой. В комнате стояли и валялись вещи… Ничего не нужно, когда его нет. Сколько продлится война? «Года два», – сказал он. Два года! Когда ни одна минута, прожитая без него, не имеет цены. Она умрет с тоски. Чем жить? Можно задохнуться.

Она сидела на полу среди открытых чемоданов и разбросанного белья. У нее было серое лицо и потухшие глаза. И губы серые. И вот губы улыбнулись. Она подняла заблестевшие глаза. У нее будет та же судьба, что и у него.

Она встала, сняла дорогое платье, в котором провожала

его, и надела старую голубую майку, заштопанную на локтях. Ключ – управдому. Другой ключ – Кате Грязновой, чтобы присматривала. И нечего тут сидеть. Только надо все убрать аккуратно: вдруг он вернется раньше нее? Она убрала, вышла из своего рая и отправилась в военкомат.

Данилову понравилась Лена.

– Здорова, – говорил он о ней. – Свободно одна может на руках перетащить мужика.

И Данилов Лене нравился. Собственно, не Данилов, а его фамилия. Все называли его: товарищ комиссар. Она обращалась к нему: товарищ Данилов. Ей было приятно произносить это имя, оно напоминало имя любимого. Данила, Даниил, Даня, Данька…

Данилов назначил было Лену в вагон-аптеку: ему представлялось, что она будет очень ловко подсаживать раненых на перевязочный стол. Но Юлия Дмитриевна, перевязочная сестра, сказала начальнику поезда:

– Прошу вас, товарищ начальник, дать мне другую санитарку.

– А что? – с готовностью осведомился со всеми предупредительный доктор. – Не нравится?

– Да, не нравится.

– Гм! – сказал доктор. – А знаете, мне самому она показалась такой это, а?

Юлия Дмитриевна поджала тонкие, по линейке прорезан-

ные губы.

– Да, вот именно такой.

– Какой-то не такой, а?

– Легкомыслие на лице написано, – процедила Юлия Дмитриевна.

– Да, да, да, легкомыслие, да… Хорошо! – сказал доктор, начальственно кивнув головой. – Я подумаю над этим вопросом.

И он сказал Данилову:

– Как бы в аптеку поставить другую санитарку, а?

– А что? – спросил Данилов. – Не справится, думаете?

– Да, не справится. Мы с сестрой присмотрелись – не справится, знаете. Легкость, легкость. Туда надо посолиднее.

Данилов перечить не стал: медицине в таком деле виднее. В вагон-аптеку поставили Клаву Мухину, а Лену перевели в кригеровский вагон.

Она ходила по вагону и без конца приводила его в порядок. То и дело ложилась пыль на оконные стекла, на лакированные полочки. Лена была немножко обижена, что ее удалили из аптеки. Конечно, это дело рук краснокожего черта – перевязочной сестры. Вот урод так уж урод, ничего не скажешь. Наверно, ее никто никогда не любил. Так ей и надо. За что она взъелась на нее, Лену? Вот назло же ведьме вагон Лены будет чище всех. И она ходила целый день с ведром и тряпкой, протирала стекла газетной бумагой, как делала Катина мама, перетряхивала одеяла… Мухи, мухи, от-

куда они берутся! Ни еды, ни духа человечьего еще нет в вагоне, а вон – пролетела одна, за нею – другая… Лена кралась за мухами. Одну поймала, а другая спряталась куда-то, Лена ее не нашла. Клава сделала из бинтов абажуры на лампочки. Абажуры были густо разукрашены фестонами. Лена завидовала: она не умела делать фестоны. Надо будет подружиться с Клавой, чтобы научила. Но Клава день и ночь проводила в вагоне-аптеке, а Лена старалась показываться там пореже, чтобы не встречаться с Юлией Дмитриевной.

… А муж всегда был рядом с нею, никуда не уходил. Правда, она не могла все время, как прежде, разговаривать с ним и рассчитывать каждое движение так, чтобы нравиться ему – у нее было очень много дела, но все-таки она ни на минуту не забывала о его присутствии и то и дело обращалась к нему. «Ну вот так, Даня», – рассеянно говорила она, взбив подушки на койках и любуясь своей работой. «А теперь мы еще разок вымоем пол!» – говорила она ему. И только когда наступал час отдыха, она уходила вся в тот нежный и лукавый мир, где были только он, она и их любовь.

Но для этого мира оставалось очень мало времени. То на кухню звали чистить картошку, то доктор Супругов читал лекцию о личной гигиене. По утрам комиссар Данилов собирал всю команду и читал вслух сводку, а потом объяснял, какие варвары фашисты, и что все наши неудачи временные, и что в конце концов победит Красная Армия, а гитлеровцы будут разбиты в пух и прах… Лена слушала Данилова и

думала: «Зачем так длинно говоришь – без тебя знаю, что победим все-таки мы, Данька и я, иначе не может быть, иначе Даньку убьют и меня убьют, и нам никогда не будет счастья…» Ее не очень беспокоило то, что немцы берут город за городом. Ну, взяли еще город. Что же делать. Все равно отобьем обратно. Только бы скорее отбить, чтобы скорее вернулась прежняя жизнь и вернулся Данька. Она не получила от него еще ни одного письма, но знала, что он жив.

Ночью Лена спала крепко, ее не разбудил ни обход, предпринятый Даниловым, ни толчок поезда. Она проснулась, когда уже рассвело. Что-то очень хорошее снилось ей под утро.

Она лежала, не открывая глаз, и улыбалась этому хорошему – и тут же, не открывая глаз, вспомнила: ничего этого нет, она в санитарном поезде, едет за ранеными, поезд стоит – неужели приехали?

Она вскочила и высунулась в окно: железнодорожная будка, да луг, да лес, птички уже поют в лесу, заря на востоке, розовая-розовая, воздушная-воздушная, плакать хочется, такая милая заря! И по всему небу облака, как розовые перышки, – никогда она не видела такого неба…

«Опять стоим на разъезде. Не торопятся с нами…»

Рано она поднялась. Все спят. До подъема часа два еще… Можно лечь и посмотреть – может, опять приснится что-нибудь очень хорошее…

Но вот комиссар Данилов, он уже встал. Он выходит из вагона-кухни. Лена надела юбку и босиком вышла из вагона. Утро было свежее, птицы пели все громче. В палисаднике возле будки цвел куст жасмина. Лене захотелось стащить веточку, она стала подбираться к палисаднику.

– Эй, Огородникова! – крикнул Данилов Лене, которая протягивала руку к жасминовому кусту. – Залазь обратно – сейчас тронемся. Отстанешь.

Лена только выпятила губу. Тронемся! Экспресс какой, подумаешь. Что, она на ходу не вскочит, что ли? Она отломила ветку, в лицо ей брызнула свежая влага.

Поезд тронулся. Данилов полез в вагон. Лена нарочно дожидалась, стоя на полотне. Теплый ветер из-под колес бежал по ее босым ногам. Когда последний вагон поравнялся с нею, она схватилась за поручень, легко подпрыгнула и вскочила на подножку, которая приходилась ей выше колен. Стоя на подножке, она порадовалась на себя – как она ловко вскочила, какая она сильная, как хорошо обдувает ей встречным ветром лоб и грудь… «Видишь, Даня, – сказала она, усмехаясь, – видишь, какая я у тебя…» И, дав ему налюбоваться собою вдоволь, вошла в вагон.

Глава третья
Доктор Белов

В Ленинграде санитарный поезд остановился на станции Витебск-Сортировочная. Паровоз обещали дать через полчаса; прошло два часа, а его еще не было. Доктор Белов бродил около штабного вагона и бормотал:

– Это же ужас что такое…

Бормотанье относилось не к стоянке. Доктор телеграфировал жене, что будет проездом в Ленинграде, и просил ее приехать на вокзал. Но на какой вокзал их примут, он сам не знал до сегодняшнего утра. И вот теперь ее не было. Это было ужасно. Главное, что она, может быть, уже здесь. Бродит по этой раскаленной, перевитой железом земле и ищет его. А здесь десятки поездов, тысячи вагонов. Она не успеет найти его, как подадут паровоз и надо будет ехать. Доктор мучился. Несколько раз он собирался идти искать жену между составами. Уже отходил от штабного вагона. Но ему становилось страшно: вдруг поезд уйдет без него. Можно, конечно, догнать. Но что скажет Данилов? Данилова доктор побаивался.

Данилов шел мимо, козырнул: он еще не виделся сегодня с начальником. С утра было партийное собрание, выбирали парторганизатора. Выбрали Юлию Дмитриевну, и Данилов за нее голосовал, потому что больше не за кого было, а те-

перь его терзали сомнения. При всех своих мужских ухватках Юлия Дмитриевна все-таки женщина. А парторганизатору предстоит ой-ой какая возня с доктором Беловым. Про себя Данилов сформулировал задачу так: из доктора Белова надо сделать начальника поезда. Где уж слабым женским рукам осилить такое дело…

Данилов козырнул доктору и мысленно пожалел его. Доктор гулял на припеке в полной форме. Нагрудные карманы его гимнастерки выпирали чугунными четырехугольниками; чего он туда напихал? Из-под блестящего козырька фуражки торчал блестящий нос; по крыльям носа скатывались ручейки пота. Доктор был накален, как крыша.

– Жарко! – сказал Данилов.

– Не говорите, – сказал доктор. – Знаете, сквозь подошву чувствуется, какой горячий гравий.

Данилов внимательно посмотрел себе под ноги: он не знал, что это называется гравий; он любил узнавать такие вещи. Старички-интеллигенты всегда что-нибудь такое скажут.

– Нет, куда это нас поставили? – продолжал доктор. – Это железнодорожные джунгли какие-то. Я – старый ленинградец, но совершенно не знаю этих мест.

Данилов не ответил: не все ли равно, где стоять? Важно ехать и приехать куда нужно. Он не знал, почему томится начальник. Он не знал, что начальник готов заплакать, как маленький ребенок.

– Иван Егорыч, – спросил доктор, – вы в хороших отношениях с вашей женой?

– Как это? – удивился Данилов. – Она жена; какие могут быть отношения?..

– Нет, знаете, – сконфузился доктор, – я хотел спросить – вы… Ну, одним словом, бывает, что люди прожили вместе тридцать лет, а настоящей дружбы нет все-таки, – ведь бывает?

Данилов отвел глаза.

– Бывает, конечно…

– А бывает и наоборот, – сказал доктор, и вдруг лицо его просияло, засветилось нежностью, гордостью, стыдливым восторгом; Данилов удивился окончательно.

Обогнув хвост соседнего состава, через пути переходила седая женщина, очень высокая, на голову выше доктора. Она была в сером простом платье и черной соломенной шляпе фасона двадцатых годов.

– Сонечка… – сказал доктор слабо. – Я думал, ты уже не придешь. Иван Егорыч, разрешите представить вас моей жене… Сонечка, это Иван Егорыч Данилов, я бы без него пропал.

Женщина взглянула в лицо Данилову и протянула ему руку. На другой руке у нее висела огромная, раздувшаяся от пакетов сетчатая сумка.

– Пойдем, я тебе покажу мое купе… – бормотал доктор, растерявшийся от счастья. – Ты одна… Дай мне сумку… Ну,

конечно, одна… Всегда одна, всегда…

– Игорь на окопах, – отвечала женщина, идя за ним. – А Лялю не отпустили со службы. Я тебе захватила рукавицы, Николай, ты забыл рукавицы.

«Смотри, пожалуйста, как молодой», – думал Данилов, глядя, как доктор подсаживает жену в вагон. У нее на руке от тяжелой сумки был глубокий красный рубец. Рука была морщинистая, бледная, худая.

В купе жужжал вентилятор.

Доктор и его жена сидели на диване. Он держал ее за руку. На столе лежали свертки, вынутые из сумки.

– Сонечка, ты замечаешь, мы с тобой сидим сейчас, как в вечер нашего прощанья, помнишь? А помнишь, я тогда сказал, что это, может быть, уже в последний раз. И вот мы опять так сидим, а? А ведь прошло всего полторы недели, а? Ты знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что мы будем сидеть так еще много, много раз. А тебе?

Она поцеловала его в мокрый соленый лоб и сказала ласково:

– И мне кажется. Только дай мне воды. Холодной, и побольше.

Доктор вскочил и схватился за голову:

– Милая, прости! Я, по обыкновению, ни о чем не подумал! Ты измучилась! Блуждала по этим джунглям! Искала меня! Боже мой! Вот здесь в графине, я сейчас, только она теплая, противная…

Постучали в зеркальную дверь. Толстая румяная Фима в белом сборчатом берете, кокетничая, впорхнула с подносом. На подносе был кофейник, печенье, кувшин с морсом, в кувшине плавал кусок льда. Из-за Фиминого плеча выглянуло еще чье-то лицо. Всем было интересно посмотреть на жену начальника.

Доктор залился радостным смехом.

– Сонечка, это Данилов! Уверяю тебя, это Данилов! Что за человек! Фима, кто это прислал, Данилов?

Наливая кофе в чашки, Фима ответила чинно:

– Начальник АХЧ велел сказать, что через десять минут будет готова свиная отбивная.

– Сонечка, ты подожди пить кофе. Съешь сначала свиную отбивную. Это, конечно, Данилов, а не начальник АХЧ. Начальник АХЧ кормит нас, представь себе, исключительно пшенной кашей, исключительно, исключительно… Я даже не знал, что у нас есть свинина. Это Данилов решил сверкнуть перед тобой. Что за человек! Ах, человек!.. Фима, несите отбивную, несите, несите…

Жена хотела, чтобы и он ел с нею. Слишком жарко, чтобы есть горячий жир, она столько не съест, он ведь знает, что она не может съесть так много. Он отказывался, но, когда она протягивала ему кусочек на вилке, он глотал его, полный восторга. Нет, это удивительное, удивительное счастье, что она его нашла!

– Как же ты нашла все-таки? Я бы ни за что не нашел…

Милая, я глупости спрашиваю, извини. Что я хотел сказать… Да! Ведь тебя не посылают на окопы?

– Нет. Не посылают.

– Ну, конечно, конечно. С твоим здоровьем…

– Меня никто не посылает. Я сама пойду.

Ее лицо задрожало.

– Бьют нас, ах, как бьют, Николай…

Он растерянно смотрел на нее.

– Бьют, да… Это пока…

– Ах, я знаю, что пока! Я видела человека из Вильны. Такой ужас, что… Я не хочу говорить. Спрашивай дальше. Что ты еще хочешь спросить?

– Ляля и Игорь…

– Ляля служит. Говорит, что их, должно быть, тоже на днях пошлют. Игорь уехал с первой партией.

– Куда?

– На Псков.

Она плакала. Он выпустил ее руку и смотрел на нее со страхом. Прежде она никогда не плакала. Прежде он ревновал ее к сыну. Сын был неудачный – лентяй, грубый, вечно шатался бог знает где; доктора обижало, что она все прощает сыну и оставляет для него лучшие куски, обделяя дочь. Теперь он понял – так ему казалось: она знала, что сыну предстоит особая доля, военная доля; она ведь часто говорила: «Ничего, кончит школу, пойдет в армию, там его вышколят». Она знала, что ему предстоит с первой партией рыть окопы;

вот она и жалела его и баловала…

– Сонечка, не плачь! – взмолился доктор. – Ну что ты плачешь, девочка, словно его уже убили!

– Я не о нем плачу. Я и сама бы поехала, если бы не работала. Я плачу потому, что не могу я слышать эти сводки.

Да, работа, он про работу ничего не спросил.

– На работе все то же. Иногда зло берет: такое время, а они зубы себе вставляют. Одна дура принесла золото. У нее два зуба из стали, она желает заменить золотыми. Я не выдержала, сказала: «Другого времени не нашли менять?» Она обиделась, пошла искать другого протезиста. Черт с ней.

– Черт с ней, – повторил он машинально.

Они замолчали и долго сидели молча, глядя друг на друга добрыми заплаканными глазами. Кофе в чашках подернулся белой пленкой, они о нем забыли. Забыли и о морсе.

Опять постучали. Вошел Данилов. Извинившись, сообщил, что сейчас будут прицеплять паровоз.

– Что? – спросил доктор. – Уже? Значит, едем, Сонечка…

Данилов вышел, чтобы не мешать супругам проститься. Потом жена доктора ушла. Она шла между путями – высокая, чуть-чуть сутулая, под старой черной шляпой – седые волосы. Доктор – маленький, возмужавший от военной формы, семеня ногами, шел с нею рядом – провожал.

До войны доктор писал дневник. В глубине души он чувствовал себя литератором. Ведь были врачи-писатели: Че-

хов, Вересаев. Ну, может быть, он не беллетрист, а публицист, как… – Марат, – подсказала Сонечка, когда он однажды поделился с нею этими мыслями. Доктора обидела ее насмешка, и он не признался ей в том, что ведет дневник. Он писал скрываясь. Особенно стеснялся детей. Он не знал, что жена и дочь тайком друг от друга вытаскивают его тетради из ящика и прочитывают все от слова до слова.

Было приятно писать потому, что каждое мелкое событие в литературном изложении приобретало значительность, а иногда даже грандиозность. Если доктору случалось писать о ком-нибудь из знакомых плохое, он не называл настоящих имен, заменял условными буквами – NN, X, Z. Он боялся, чтобы люди, которые приходили к нему играть в преферанс, не были опорочены после его смерти, когда его записки будут обнаружены и опубликованы. Уезжая из дому, он уложил дневник в папку, папку обвязал веревочкой и запечатал сургучом.

– Сонечка, – сказал он, подавая жене папку обеими руками, как образ, – это прошу хранить и вскрыть только в случае… Ты понимаешь, в каком случае.

В поезде, после встречи с женой, ему опять захотелось писать. Он открыл толстую, еще не начатую тетрадь, с удовольствием понюхал ее клеенчатый переплет, вздохнул и написал:

«2 июля 1941 года. Приходила Сонечка».

И сразу ему расхотелось писать. Поезд шел. В купе бы-

ло прохладно. Жужжал вентилятор… Вот здесь она сидела в уголке. Попала она в трамвай или еще ждет?.. Доктор положил лоб на тетрадь и долго сидел так, не шевелясь.

«Странный человек NN, – писал доктор на другой день, справившись с собою. – Я понимаю И. Е. Данилова, понимаю нашу симпатичную, хотя и суровую хирургическую сестру. Понимаю эту девицу в берете, которая заботится обо мне и больше всего довольна, когда я похвалю фасон, которым сложена салфетка, понимаю пьяницу Z, понимаю каждого человека в поезде, но вот NN я никак не могу понять. А ведь он самый близкий мне здесь человек, во всяком случае должен быть самым близким. Ведь мы люди одной профессии, мы могли бы беседовать часами, но мне почему-то совсем не хочется беседовать с ним. Он угощает меня папиросами, и так это вежливо, но за этой вежливостью ничего нет. Я заговаривал с ним о текущих событиях; он говорил о них совершенно теми же словами, которые мы видим в официальных газетных сообщениях. Заговаривал по вопросам нашей практики; он соглашается со мной, какую бы глупость я нарочно ни сказал. Спрашивал его о семье: он холост, живет со старухой матерью. Кажется, он библиоман: у него своя библиотека; я просил почитать что-нибудь, он смутился, обещал дать книгу и до сих пор ничего не дал. Нельзя назвать его нелюдимым: он заговаривает с людьми, но предоставляет им высказываться, а сам поддакивает. Замечаю, что и И. Е. его

не любит».

Доктор обмакнул перо, вспомнил, как писали о своих героях старые романисты, и приписал:

«В нем есть что-то загадочное и отталкивающее».

Старшая сестра Фаина тоже находила Супругова загадочным. Но не отталкивающим. О нет! Именно эта загадочность привлекала Фаину.

– Доктор, – говорила Фаина Супругову, толкая его горячим плечом, – ну о чем вы все время молчите? Я хочу знать. Поделитесь со мной.

Фаина была на полголовы выше Супругова, пышная, цветущая, шумная. Может быть, при других обстоятельствах ее внимание польстило бы Супругову. Но теперь ему было не до того.

Супругов боялся. В этом была вся загадка.

Он боялся исступленно.

Специальность у Супругова была тихая: ухо, горло, нос. К нему приходили дети с полипами в носу и оглохшие старики. Супругов делал значительное лицо, смазывал, чистил, прижигал, но он знал, что и с глухотой больной проживет еще двадцать лет, и у него не было той активной жалости и уважения к чужому страданию, какие бывают у хирургов, педиатров или универсальных сельских врачей. Не было у Супругова и привычки к виду страдания и смерти. Его пациенты болели без мучений, они испытывали неудобства, а не боль; а умирали они без участия Супругова, от каких-то

других болезней… Супругов был доволен, что у него такая чистая работа. Сам он лечился от каждого пустяка. Однажды у него был нарыв на пальце. Он вспоминал об этом с содроганием: это было ужасно! Мать удивлялась его стонам:

– Неужели так больно?

Это была беззаботная старушка. Она родила за свою жизнь семерых детей и шестерых схоронила, много видела боли и скорби и все-таки до семидесяти лет сохранила в глазах тот живой огонь, которого был лишен Супругов. В старости она стала несколько легкомысленной, пристрастилась к лото и цирку и хозяйством занималась невнимательно, но в общем они с сыном жили припеваючи.

Супругов коллекционировал книги, скульптуру, красивую посуду и изделия палешан. У него в кабинете стоял шкафчик с китайским фарфором и венецианским стеклом. Не то чтобы он очень понимал в китайском фарфоре, в изделиях палешан или в стихах Верхарна, а просто ему нравились изящные вещи, и он украшал ими свою квартиру. Он аккуратно ходил на все заседания, на которые его приглашали, и на новые спектакли, и к знакомым в гости, он слушал радио, читал газету, выписывал специальные издания, но больше всего он любил сидеть дома в одиночестве, покуривать и рассматривать свои коллекции.

– Хоть бы ты женился, Павлик, – говорила мать, возвращаясь за полночь домой. – Все ты один да один!

Но он не хотел жениться. Бог с ними, с женщинами. Он не

позволял себе с ними ничего, кроме комплиментов: столько приходится слышать о неудачных союзах, разводах, семейных недоразумениях… А венерические болезни? Боже сохрани! И потом, разве он один? Большую часть времени он проводит в коллективе… Когда-то, в ранней молодости, он отдал дань любви. Он имел два романа, и что же? Оба закончились ужасными неприятностями… И довольно, довольно с него.

– Не нравишься ты мне! – чистосердечно признавалась мать, глядя на него с сомнением.

Посмеиваясь, он целовал ее мягкую щеку: бедная мамочка, она выживает из ума. Как может не нравиться такой сын? Он дает ей все необходимое для жизни, вплоть до билетов в цирк. А ведь выбивался из нужды. Отец приказчиком служил в обувной лавке. А вот он – Павел Супругов – врач, интеллигентный человек, ценитель искусства. Говорят – Советская власть открыла двери… Но и своя голова должна быть у человека на плечах.

Он был совершенно доволен своей жизнью.

Был ли он так же доволен собой? На этот вопрос он не мог бы ответить определенно. Скорее – нет, не был. Что-то было в нем неблагополучно, чего-то недоставало, а чего – он не знал. Он никому ничего не мог *приказать*, он мог только *просить*. Другие приказывают, и их охотно слушают. Как это человек приказывает? Почему его слушают? Почему он, Супругов, никому не смеет приказывать? А если бы и посмел

– его бы не послушались, только удивились… Почему другие спорят, а его всегда так и подмывает поддакнуть собеседнику, если даже он с ним не согласен? Только в крайнем волнении он решается возражать, да и то до тех пор, пока на него не прикрикнут… Почему другие люди говорят друг другу резкости и не обижаются, а его, Супругова, болезненно обижает каждый пустяк?

Чтобы не давать повода для обид, он старался быть как можно вежливее, угощал всех папиросами и везде, где мог, обещал «поблагодарить».

Другие держатся в жизни как хозяева. А он стоит у порога, как непрошеный гость. Почему?

Он не понимал почему.

Впрочем, он старался не думать об этом. Ему и так хорошо. У него есть все: солидная профессия, прочное положение, чистая репутация. И эти милые безделицы, которые украшают существование. Что еще нужно для счастья, в конце концов?

Война с первых дней все исковеркала. Все полетело к черту: уверенность, покой, солидность. Человек привык слушать жизнь, как скрипку, и то через стену; и вдруг она забила в барабан у самого уха.

Его мобилизовали. Позвольте! У него слабое здоровье! Что ж, он будет служить в санитарном поезде. Но он не хирург! Он не умеет извлекать пули и накладывать гипс! Это сделают другие; а он будет возить раненых и смотреть за

ними в дороге, чтобы не болели, чтобы выздоравливали. И пусть не беспокоится – при надобности его научат и пули извлекать…

Но он не хочет, чтобы его изувечили! Он боится бомб! Боится страданий!

– Повоюй, Павлик, ничего; надо воевать, – бормотала мать, собирая его. Голова у нее тряслась. Он не сказал ей о своем ужасе. Он ненавидел ее в эти дни. Он всех ненавидел. Зачем они притворяются, что не боятся?! Они все знают, так же как и он, и о фугасах, и о разрывных пулях, и об иприте, и о звериной жестокости врага. Как они смеют делать вид, что им не страшно?! Как они могут смеяться, говорить о житейских пустяках, есть мороженое, ходить в театр, когда внутри у них воет: «Ууу!»

Но все словно сговорились притворяться. Они притворялись так искусно, что даже он поверил, будто они действительно не боятся. Приходилось притворяться и ему. И он навязчиво угощал папиросами, говорил о пустяках, старался не выдавать себя. Но по ночам он не спал. Поезд шел к фронту. Супругов курил и седел. Доктор Белов рассказывал ему случаи из своей практики. Фаина заигрывала с ним. Монтер Низвецкий приходил за врачебным советом. Супругов любезно отвечал им всем, а обезумевший зверь выл, не переставая воет: «Ууу!»

Соболь, начальник АХЧ, терзался сомнениями: открыть начальнику поезда истинное положение вещей или предо-

ставить времени обелить его, Соболя, и разоблачить Данилова?

Не Соболь виноват был в том, что персонал санитарного поезда кормился пшенной кашей и чахлыми диетическими супчиками. Это Данилов так распорядился. Он сказал Соболю:

– Слушай. О том, что у тебя есть мясо, сливочное масло, какао и прочие деликатесы, – забудь.

– Навсегда? – спросил Соболь. – Или, может быть, иногда можно вспоминать?

– Я тебе скажу, когда надо будет вспомнить, – пообещал Данилов.

На четвертый день пребывания в поезде доктор Белов, смущаясь, сказал Данилову:

– Что-то у нас неладно с питанием, знаете. Люди недовольны. Надо бы пошевелить нашего начальника АХЧ.

– Начальник АХЧ ведет правильную линию, – отвечал Данилов. – Неизвестно, в какую обстановку мы попадем в ближайшее время и где получим продукты, и какие, и сколько. А нам предстоит кормить раненых.

И, играя носками начищенных сапог, он закончил:

– Я считаю, что Соболь совершенно прав.

– Да, да, – заторопился доктор, сконфуженный мыслью, что Данилов может принять его за себялюбца и лакомку. – Да, действительно, неизвестно, где и что, Соболь прав…

И все ругали Соболя, все, начиная от сестры-хозяйки, ко-

торой Соболь отвешивал пшено по утрам, и кончая Кравцовым. Кравцов не снизошел до личного объяснения, но передал через Кострицына, что набьет Соболю морду, если тот не прекратит свои хулиганские штучки.

Вот тогда Соболь задумал пойти к доктору Белову и все ему рассказать начистоту. Соболь понимал, что Кравцов не из тех людей, которые шутят. Соболя влекло под защиту доктора. Он стал попадаться доктору на глаза по нескольку раз в день. Доктор смотрел на него юмористически: его забавляло, что Соболь все считает. Закатив глаза, Соболь считал вполголоса:

– Сто двадцать множим на шестьдесят семь, получаем восемь тысяч сорок граммов, округляем, получаем восемь кил…

На счетах он считал плохо, делил и множил в уме.

Он так и не решился подойти к доктору. Он не знал, как комиссар отнесется к такому выпаду. У комиссара были холодные глаза и маленький жесткий рот. Морду бить он не будет, но кому охота портить отношения с таким человеком?

«Интриган», – думал Соболь о Данилове.

Он нашел выход. Воспользовавшись моментом, когда в штабном вагоне обедали, он достал из кладовой банку паштета, отрезал кусок масла и отсыпал сахара. «А что я могу сделать?» – шептал он. Сосчитал куски сахара – оказалось сорок два. «Жирно будет», – подумал Соболь и двенадцать кусков – самые большие – положил обратно. Спрятав все в

карман, он пошел к Кравцову. Кравцов спал в вагоне команды, на верхней полке, укрыв лицо газетой, – только бороденка торчала из-под газеты… Внизу спал Сухоедов. Больше никого близко не было.

Соболь осторожно потолкал Кравцова.

– Товарищ Кравцов, – зашептал он, когда Кравцов сдвинул газету с лица и взглянул на него заспанным глазом, – вы напрасно сердитесь, я абсолютно ни при чем.

– Что ты тут строишь? – спросил Кравцов, садясь на полке и глядя на припасы, которые Соболь выкладывал ему на колени. – А, боже мой: что я, грудное дитё, чтоб сахар сосать?

Но, смягченный смирением Соболя, он простил его.

Соболь успокоился. Ему даже стало нравиться, что его считают влиятельным лицом. Он стал пошучивать с женщинами, чего не было в первые дни.

– Ах, витязь, то была Фаина! – говорил он, встретясь в коридоре со старшей сестрой.

Данилов, услышав, спросил:

– Что это значит?

– Тут я меньше всего при чем-нибудь! – сказал Соболь и поднял обе руки. – Это сочинил Пушкин.

А война шла, враг продвигался в глубь страны, по русским дорогам неслись его мотоциклы, над русскими городами летали его самолеты.

– Вы заметили? – сказал доктор Белов Данилову. – Наши люди смеются. Острят. Как ни в чем не бывало.

Данилов кивнул:

– Что ж, это хорошо.

Подумав, повторил:

– Хорошо, что острят. Нехорошо то, что не представляют себе размеров бедствия. Мы здесь, в поезде, в какой-то строгой изоляции без поражения в правах.

Доктору вспомнилась Сонечка, ее слезы. Он затуманился:

– Вы думаете – бедствие так огромно?

Данилов усмехнулся невесело:

– Чего ж тут думать? Видно, – он говорил медленно, прикусывая губы, и видно было, что ему больно говорить. – Конец не скоро. Края не видать. Только началось…

– Наш народ, знаете, – сказал доктор, – пойдет на любые жертвы.

– Какие жертвы? – спросил Данилов. – Жертва приносится кому-нибудь, правда? Самому себе нельзя принести жертву. То, что вы называете жертвой, есть естественная функция народа, ваша функция, моя функция, девочек этих функция. Подвиг для нашего народа не жертва, а одно из его повседневных проявлений. Чтобы мы могли жить дальше как советский народ, часть из нас должна, возможно, сегодня умереть. Допустим, меня убьют, вас, Петрова, Иванова. Это – жертва? Кому же это жертва? Мне, вам, Петрову, Иванову? Вы извините, я, может, не очень ясно выражаю свою мысль…

– Нет, я вас очень хорошо понимаю, – сказал доктор, – и, пожалуй, готов согласиться с вами. Но подвига я вам не

уступлю. Вы мне не докажете, что подвига не существует, что это какая-то там функция. Подвиг – это, знаете, красота человеческая, взлет человеческого духа, и не всякий способен на подвиг, к нему талант надо иметь.

– Таланты развиваются, – сказал Данилов. – В этой войне такие разовьются таланты, что весь мир ахнет. Талант не господом богом вдувается в человека, он создается воспитанием, средой… обстановкой, – сказал он, сердито скользнув глазами по тесному, как коробка, купе.

Доктор покачал головой. Он не был согласен с Даниловым. По его мнению, Данилов упрощал вопрос. Этак из каждого можно сделать Героя Советского Союза.

– В Советском Союзе, – сказал Данилов, – из каждого можно сделать героя.

– У нас двести миллионов населения, если не ошибаюсь, – сказал доктор. – Что же, двести миллионов героев?

– Вполне возможно.

– Двести миллионов минус один, – сказал доктор шутя. – Из такого старого мешка, как я, не сделать героя.

– Двести миллионов минус один, – сказал Данилов. – Двести миллионов минус Супругов.

Они засмеялись. Серьезный разговор закончился шуткой.

С того часа, как Сонечка приходила в поезд, одна мысль не оставляла доктора.

Он мог думать сколько угодно о служебных делах, о положении на фронте, о Супругове, о Соболе, он мог есть, спать,

писать дневник, разговаривать, шутить, огорчаться – а эта мысль держала его душу обеими руками и время от времени сдавливала побольнее – чувствуй! Не забывай!

Это была мысль о сыне.

По вечерам доктор оставался один. Он снимал военную форму, в которой было так жарко. Надевал полосатые летние брючки и ложился полуодетым (на случай бомбежки: не выскакивать же тогда в белье, когда кругом женщины).

Он ложился на широкий плюшевый диван, закрывал глаза, и сейчас же сын садился рядом, и они разговаривали.

(Когда-то было наоборот: сын лежал в кроватке, барахтался и шалил, а доктор сидел рядом и уговаривал сына спать.)

– Игорек, – спрашивал доктор, – как же это вышло, милый, что мы с тобой разошлись?

Был мальчик, прекрасный мальчик.

Двухлетний, он забрался на крышу флигеля по лестнице, которую оставили кровельщики. Дети со двора позвали Сонечку, она выглянула в окно и увидела Игоря – он сидел на краю крыши и болтал ногами. Сонечка ахнула, ей стало дурно… Соседка полезла за ним – он вскочил и побежал вверх, к трубе, и, когда соседка схватила его, он ревел и колотил ее ногами: ему не хотелось вниз.

Соседка говорила: «Нужно отшлепать хорошенько, чтобы другой раз неповадно было лазить куда не след». Но Сонечка только целовала сына, и доктор, когда пришел домой и ему рассказали, тоже целовал: подумать только – всего два года

мальчишке…

Годом позже. Доктор шел по Карповке (они тогда жили на Карповке, по улице Литераторов), вел Игоря за руку. За другую руку Игоря держала Ляля, ей было тогда семь, нет, восемь лет. Из подворотни выскочила собака, стала лаять. Ляля выпустила руку Игоря, зашла за спину отца – спряталась. Игорь вырвался от отца, побежал к собаке и залаял на нее: «Ав, ав!» И собака испугалась и убежала в подворотню.

Его еще в платьицах водили тогда, на нем было голубенькое какое-то платьице и фартучек, и волосы у него вились, как у девочки…

Смелый, чудесный был мальчик.

Данилов говорит, что смелость дается воспитанием. Может быть, может быть. А кто в двухлетнем Игоре воспитывал смелость? Тут что-то не то. Может быть, есть две смелости: одна – привитая воспитанием, другая – врожденное свойство характера…

Неважно, в конце концов. Важно то, что Игорь, сын, был смелым от рождения.

Не только смелым. Чутким, тонким, вообще – необыкновенным…

– Завтра у нас будет стирка, – говорили в доме. – Надо купить щелоку, завтра будет стирка.

И на другой день приходила женщина, которая стирала у них белье, и Игорь думал, что это ее имя – Стирка, и так и звал ее: тетя Стирка. Он подпрыгивал около нее и загляды-

вал в лохань – там было столько пены и пузырей!

Однажды Стирка привела свою девочку, годами тремя постарше Игоря. Девочка научила его играть в кремушки, в крестики и нолики. Игорь обожал эту девочку. Он все обнимал и целовал ее. Сонечка приревновала, спросила:

– Да ты кого больше любишь, меня или Лиду?

Он ответил:

– Конечно, Лиду.

А потом стали пропадать игрушки. Сонечка молчала, у нее не хватало духу огорчить сына. Наконец она не выдержала.

– Игорек, Лида нехорошая, – сказала она. – Ты ее так любишь, а она украла у тебя все лучшие игрушки.

Он ничего не сказал, ушел в столовую, сел с ногами на большой диван и долго сидел так. «И глаза у него, – рассказывала Сонечка, – были удивленные и печальные».

Потом он слез с дивана, подошел к Сонечке и сказал:

– Пусть не считается, что она украла. Хорошо? Пусть считается, что я ей подарил. И пусть она приходит.

Лида пришла.

Сонечка слышала, как Игорь сказал ей, оставшись с нею вдвоем:

– Хочешь – бери мои игрушки. Какие хочешь. Хоть все. Мне они не нужны.

Мальчик, мальчик…

В шестилетнем возрасте он украл у матери деньги.

У него были красивые локоны, бледно-золотые. Сонечка берегла их и не стригла. Он просил остричь, потому что его во дворе дразнили девчонкой. А Сонечка в материнском тщеславии и эгоизме говорила:

– Не обращай внимания, они ничего не понимают. Еще год походи так, только год!

И вот он исчез со двора и явился наголо остриженный и благоухающий цветочным одеколоном.

– Где это тебе сделали?! – спросила Сонечка, глядя во все глаза на его сразу погрубевшее и подурневшее лицо.

Она чуть не плакала.

– В парикмахерской, – ответил он. – Я дал им три рубля, и они меня всего полили духами.

– Где же ты взял три рубля?

– Я украл у тебя из сумочки, – ответил он.

– Зачем же ты украл? – спросила она ужасаясь. – Ты должен был попросить, я бы тебе дала.

Он покачал головой:

– Неправда. Не дала.

И она его больше не упрекала, она гладила его круглую плюшевую мальчишескую голову и оплакивала его кудри, и целовала, целовала – безрассудная, без памяти любящая мать…

В школе его так же баловала молоденькая учительница. Он хвастал:

– Все сидят и решают задачу, а я хожу по классу и смотрю,

кто как решает.

– А сам не решаешь?

– Я раньше решил.

– Как же учительница позволяет тебе гулять по классу?

– Потому что она меня любит, – отвечал он.

Как случилось, что сын стал уходить из его сердца?

С некоторых пор доктор стал замечать, что его раздражает это безумное баловство, эта атмосфера обожания, которой окружен в доме Игорь.

Сонечка, придя с работы, сидит до трех часов ночи и чертит Игорю чертежи, потому что ему лень, а завтра надо сдавать. Безобразие.

Неслыханное дело: мальчик ходит в школу, когда ему хочется. А чаще ему не хочется. Он приходит с катка или кинематографа в двенадцатом часу, утром ему трудно подняться рано… И мать – какая мерзость! – пишет в школу записки, что у сына болела голова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.